

ОДНА НОЧЬ.
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МОЛЧАНИЯ.
ОДНА ПОДПИСЬ,
КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА
ВСЁ.

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ

ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН



Чернова Галина

Подпись свидетеля

«Автор»

2026

Галина Ч. М.

Подпись свидетеля / Ч. М. Галина — «Автор», 2026

Адвокат Матвей Дербенёв приезжает в старинную усадьбу «Белые Ключи», чтобы защищать зрителя, признавшегося в убийстве хозяйки. Лидия Корн найдена мёртвой в запертой изнутри спальне. Ключ — в замке, окно закрыто, следов борьбы нет. Казалось бы, дело очевидно. Но одна фраза подозреваемого меняет всё: «Дверь запер не я». Расследуя обстоятельства убийства, Матвей обнаруживает фотографию двадцатилетней давности — и узнаёт на ней самого себя. Он не помнит этого дня. Не помнит, почему его подпись стоит в старых документах. И не понимает, почему девушка, официально погибшая в 2004 году, снова появилась в усадьбе. Чем глубже Матвей погружается в прошлое, тем яснее становится: в «Белых Ключах» никто не рассказывает всей правды. Здесь есть свидетель, который молчит двадцать лет. Есть человек, который готов взять на себя чужое преступление. И есть тайна, которую нельзя было оставить в прошлом. Потому что иногда подпись свидетеля опаснее признания убийцы.

© Галина Ч. М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Глава 1	7
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	16
Глава 5	18
Глава 6	21
Глава 7	24
Глава 8	27
Глава 9	30
Глава 10	32
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	35
Глава 11	36
Глава 12	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Чернова Галина

Подпись свидетеля

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ

роман

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Бархатная лента, натянутая через проём ворот, намокла за ночь и обвисла, как бельё на верёвке.

Человек в форме курил, спрятав сигарету в кулак.

— Кто.

— Дербенёв. Адвокат. К Гущину.

Удостоверение он держал открытым. Человек смотрел на фотографию дольше, чем требовалось, потом отцепил ленту с одного гвоздя и оставил висеть на втором.

— Второй дом. Направо. Вас встретят.

— Кто.

— Следователь.

Двор был длинный и пустой, и в нём стояла та особенная тишина, которая бывает в местах, где много лет никто не ходит по прямой. Слева — флигель с заколоченными окнами, справа — службы, дальше дом: два этажа серого камня, четыре окна с белыми простенками, облупившийся герб на фронтоне, который никто не пытался починить лет тридцать. Гравий размыло, и на нём темнели следы протектора — скорая, две полицейские машины и что-то тяжёлое, что уехало ещё до рассвета.

На крыльце стояла женщина в куртке поверх форменной рубашки. Волосы она собрала наспех, и одна прядь держалась отдельно, вдоль щеки. Когда он поднялся на три ступени, она посмотрела на него ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что за человек поднимается.

— Корн, — сказала она. — Вера Борисовна. Я веду дело.

— Дербенёв.

— Знаю. — Она не подала руки. — Вас назначили вчера в двадцать один сорок. Клиент признался вчера в шесть утра. Вы не спешили.

— Я выехал ночью. Сто двадцать километров по размытой дороге.

— Значит, выехали ночью, — согласилась она. — И всё равно опоздали на сутки.

Она повернулась и вошла в дом, не проверяя, идёт ли он.

В сенях пахло мокрым деревом и чем-то аптечным. Дом был больше, чем казался снаружи: за сенями открывалась анфилада — три проёма подряд, и в самом дальнем, у окна, стоял стол, накрытый простынёй. Матвей не стал спрашивать, что под простынёй. Он и так знал: пусто. Всё давно вывезли.

Кухня оказалась единственной комнатой в доме, где было тепло. На плите стоял чайник, и под ним ещё тлел газ, будто кто-то вышел на минуту и забыл. Вера села не на хозяйское место, а сбоку, у окна, спиной к свету, и положила на стол папку.

— Смотрите, — сказала она. — Это не тайна. Это уже не тайна.

Матвей открыл. Сверху лежал лист с напечатанным на машинке текстом — телефонограмма, принятая четырнадцатого августа.

— В шесть сорок одна минуту, — сказала Вера, — в дежурную часть позвонил Пётр Ильич Гущин, смотритель этой усадьбы, с мобильного телефона, стоя на этом крыльце. Он сказал: приезжайте, я убил Корн. Он не входил в дом. Он ждал нас у ворот, в двадцати метрах от двери, и всё это время курил.

— Откуда он знал, что она мертва?

— Вот, — сказала Вера. — Вот именно.

Она перевернула лист. Дальше шёл протокол осмотра.

— Спальня на втором этаже. Тело на кровати, под одеялом, лицом вверх. Механическая асфиксия. Орудие — подушка с её же постели, оставлена на месте. Следов борьбы нет. — Она помолчала. — Совсем нет. Ни ссадин, ни синяков, ни обломанных ногтей.

— Пожилой человек в постели.

— В крови фенobarбитал. Она принимала его каждый вечер, двадцать лет, по назначению врача. Доза обычная, но человек спит и не просыпается до половины шестого.

— Значит, убийца знал, что она спит крепко.

— Убийца жил с ней в одном доме, — сказала Вера ровно. — Или заходил в этот дом много лет.

Он листал дальше. Дверь была заперта изнутри. Ключ остался в замке, и его вынимали потом, через вскрытую филёнку. Окно закрыто на закрашенную задвижку. Дверь вскрыли в семь часов десять минут.

— Второй ключ? — спросил Матвей.

— Второй ключ у нас, — сказала она. — Изъят при задержании.

Она произнесла это без всякого выражения, и именно поэтому он понял, что это главный довод обвинения: человек, у которого нашли ключ от запертой комнаты, сказал, что убил. Дальше можно было не работать.

— Хорошо, — сказал он. — Я хочу её увидеть.

— Вас туда никто не пустит.

— Меня туда пустите вы.

Вера посмотрела на него долго.

— Зачем?

— Потому что вы сами не верите, что всё так просто, — сказал Матвей. — Иначе вы бы не открыли дверь адвокату, который опоздал на сутки.

Она встала.

По лестнице на второй этаж они поднимались молча. Ступени были стёртые посередине, каждая со своим изгибом, и на четвёртой Матвей почувствовал под подошвой что-то неверное — не скрип, не провал, а короткую мягкость, будто доску недавно меняли и плохо вогнали.

— Здесь ремонт, — сказала Вера, не оборачиваясь. — С июня.

— Кто затеял?

— Хозяйка.

На втором этаже было четыре двери. Три открыты, четвёртая заклеена полосой бумаги с печатью, и бумага была приклеена неровно, с одного угла отходила.

Вера отклеила её за угол и открыла дверь.

Комната была небольшая и очень аккуратная. Кровать застелена — тем способом, которым застилают люди, всю жизнь встающие в половине шестого. В изголовье три книги, все с закладками. У окна письменный стол: стопка бумаги, очки в твёрдом футляре, термометр в стакане, блюдец с монетами. Пахло валидолом и старой шерстью.

Матвей осмотрел по часовой стрелке, как его учили в двадцать два года и как он с тех пор делал всегда, и остановился на двери.

— Она была заперта?

— Заперта, — сказала Вера. — Изнутри.

— Ключ?

— В замке. Изнутри. — Она сказала это ровно, без нажима. — Второй у нас. Тоже.

Он подошёл. Дверь была старая, филёчатая, с накладным замком, поставленным, судя по следам, ещё при прежних хозяевах, и с защёлкой — пружинной, врезанной в торец. Ключ торчал из скважины, бородка была обращена в комнату. Чтобы запереть снаружи, нужно было бы оставить ключ внутри и как-то закрыть — то есть оставить его в замке, стоя снаружи. Это уже не слесарное дело, а фокус.

Он прикрыл дверь и услышал, что защёлка не щёлкнула.

— Она через раз срабатывает, — сказала Вера, не оборачиваясь. — Я её в июне просила поменять, мать сказала: доведёшь до юбилея, потом.

Матвей открыл дверь за ручку и посмотрел на торец. Защёлка была стёртая, язычок ходил с задержкой, и в гнезде ответной планки лежала выкрошенная пыль.

Он закрыл дверь второй раз, сильнее. Защёлка щёлкнула.

Окно: две створки, старая задвижка, покрашенная вместе с рамой. Краска в пазах не треснула.

— Окно закрыто изнутри, — сказала Вера. — Задвижку месяц не открывали. Мы проверяли.

— У вас тут всё проверяют.

— У нас тут всё очевидно, — ответила она. — Это хуже. Когда всё очевидно, я не сплю.

Он вернулся к столу. Стопка бумаги, очки, термометр, блюдце. И у самого края, под правой рукой, как кладут то, что читают часто, — фотография. Верхняя была гладкая, глянцевая, чуть пожелтевшая по углам.

Она лежала лицом вниз.

Матвей взял снимок, не спрашивая, и перевернул.

Август. Двор тот же, что он видел утром, только не размытый и без следов. Слева флигель, ещё живой, с открытыми окнами. В центре пятеро, все зажмурились от солнца, и по теням видно, что снимали около полудня. Шестой, снимавший, в кадр не попал.

Лидия Густавовна — лет на двадцать моложе, спина та же, седого узла нет, тёмные волосы уложены тяжёлой волной. Рядом с ней мужчина в рубашке с коротким рукавом, широко улыбающийся: широкая кость, обветренное лицо, руки на уровне пояса.

Потом девушка. Стриженная под каре, стоит чуть отдельно, руки за спиной, смотрит не в объектив, а в сторону, за кадр, и от этого её лицо кажется старше, чем должно быть. Шестнадцать, может, семнадцать.

Дальше парень лет двадцати четырёх, в белой рубаше, расстёгнутой на две пуговицы, с той беспечной осанкой, которую даёт уверенность, что ничего плохого не случится.

И у самого края девочка с коротко обрезанными волосами, смеётся и прикрывается ладонью от солнца.

Матвей посмотрел на них всех и не почувствовал ничего. Потом посмотрел ещё раз, начиная слева, и на втором человеке справа остановился.

Стоял мужчина в льняной рубашке, чуть в стороне от остальных, руки опущены вдоль тела. Плечи как у людей, которые много сидят. Левая манжета застёгнута, правая расстёгнута — он всегда расстёгивал правую, потому что она жала.

Он узнал себя не по лицу. Лицо было молодое и совсем чужое. Он узнал себя по рукам.

Двадцать лет назад кто-то снял его в этом дворе, а он этого дня не помнил.

Он понял, что стоит слишком долго, и заставил себя отвести глаза. Потом поправил левую манжету — коротким, привычным движением, о котором знал только он.

Вера Корн смотрела не на фотографию. Она смотрела на его руку.

— Вы помните этот день? — спросила она.

Матвей положил снимок лицом вниз, туда же, где взял, и разгладил край.

— Нет, — сказал он.

— Жаль, — сказала Вера. — Я помню.

Глава 2

Изолятор в райцентре был старый, ещё земский: толстые стены, высокие окна, решётки, вваренные в кирпич так давно, что кирпич успел нарасти вокруг прутьев. Матвей шёл за конвоиром по коридору, где пахло хлоркой и мокрой шерстью, и считал двери. Их было девять, и только за одной было тихо.

Петра Ильича Гущина привели через десять минут. Он был большой человек — не толстый, а именно большой, как бывают большими люди, которые всю жизнь что-то поднимают. Седой, коротко стриженный, в чёрной рубашке и чёрных брюках, без ремня и без шнурков. Сел напротив, положил руки на стол и посмотрел на Матвея спокойно, без интереса.

— Дербенёв, — сказал Матвей. — Матвей Львович. Я ваш защитник.

— Не нужен.

— Это не вопрос желания. Суд назначил.

— Я подписал всё, что надо, — сказал Гущин. — Больше подписывать нечего.

Матвей раскрыл папку, положил перед собой лист и развернул его к собеседнику. Он не стал читать вслух: люди, которые всё подписали, не любят, когда им читают их собственные слова.

— Вам дадут от восьми до двенадцати, — сказал он. — Вы выйдете в семьдесят три. Если выйдете.

— Хорошо.

— Хорошо?

— Хорошо.

Матвей откинулся на спинку. Стул был привинчен к полу, и откинуться получилось только наполовину.

— Расскажите мне про утро четырнадцатого.

— Пришёл. Позвонил. Дождался.

— Во сколько пришли?

— В половине седьмого.

— Откуда?

— Из дома. Смотрительский дом за парком, двести метров.

— Вы вошли в усадьбу?

— Нет. — Гущин сказал это без запинки. — Стоял на крыльце. В дом не заходил.

— Почему?

— Незачем.

Матвей медленно кивнул.

— Вы стояли на крыльце и позвонили в полицию, потому что знали, что Лидия Густавовна мертва. Как вы это узнали?

Впервые за разговор Гущин отвёл глаза. Не виновато, не испуганно, а так, как отводят их от слишком яркого света: нехотя и с усилием.

— Услышал, — сказал он.

— Что именно?

— Всё.

Больше он на это не сказал ничего, и Матвей не стал давить. Он давно знал правило: самое важное люди говорят не тогда, когда их спрашивают, а когда пауза становится невыносимой. Он сделал паузу и подождал.

— Я убил, — сказал Гущин. — Но дверь запер не я.

— Как это понимать?

— Дверь была заперта. Я её не запирал.

— Тогда кто?

Гущин молчал так долго, что стало слышно, как за стеной кто-то ходит — три шага туда, три обратно.

— Тот, кто имеет право, — сказал он наконец.

Матвей записал фразу в блокнот, целиком, вместе с паузой, и обвёл её. За двадцать лет практики он научился не спорить с бессмыслицей, а складывать её в отдельный карман — иногда она потом пригождалась.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда давайте по порядку. Вы её знали сорок лет.

— Больше.

— Вы у неё работали.

— Смотрителем. Двадцать восемь лет.

— Вы её ненавидели?

— Нет, — сказал Гущин.

— Тогда почему?

Гущин посмотрел на него, и в этом взгляде не было ни злобы, ни горя, ни того особенного блеска, который появляется у людей, когда они наконец нашли, кому исповедаться. Была усталость человека, который всё решил и теперь ждёт, когда остальные перестанут задавать вопросы.

— А почему вы спрашиваете? — сказал он. — Вы же меня защищаете. Вам не всё ли равно.

— Мне не всё равно, — сказал Матвей. — Я хочу понять, за что вы садитесь.

— За то, что не уберёг, — сказал Гущин. — А срок дадут за формулировку.

Матвей записал и это.

— Её похоронят здесь? — спросил Гущин.

— В среду. Рядом с мужем.

— На кладбище за рекой. Там земля сырая, — сказал Гущин, и в его голосе не было ничего, кроме деловитости. — Надо, чтобы гроб сносили с левой стороны. С правой проваливается.

— Я передам.

— Передайте.

Он снова замолчал. Матвей смотрел на его чёрную рубашку, на чёрные брюки, на то, как аккуратно они выглажены, и понял, что человек в этих вещах не первый год. Так одеваются не в траур на неделю. Так одеваются в траур на всю оставшуюся жизнь.

— У вас есть родные? — спросил Матвей.

— Никого.

Матвей не смотрел на его лицо, но слышал, как изменилось дыхание: короткий вдох не на месте, между двумя словами.

— Смотрительский дом в ваше имя?

— В моё.

— Что с ним делать, если посадят?

— Пусть стоит.

— В нём кто-то живёт?

— Никто, — сказал Гущин. — Пусть стоит.

Он встал, не дожидаясь конвоира, и это был первый его неточный жест за всё свидание — слишком быстрый, слишком готовый. Матвей тоже встал.

— Пётр Ильич.

— Что.

— Я приеду послезавтра. И послезавтра, и в среду. Вы можете не разговаривать, это ваше право. Но я буду приезжать.

— Зачем.

— Потому что вы сказали «дверь запер не я», — ответил Матвей. — Люди, которым всё равно, так не говорят.

Гущин остановился у двери. Посмотрел на него — уже в третий раз и уже иначе, чем в первый.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты приезжал. Тогда.

— Я здесь впервые в жизни, — сказал Матвей.

— Тогда я тебя не видел, — сказал Гущин и постучал в дверь, чтобы его уводили.

К двум часам дня Матвей был в райцентре. Гостиница называлась «Ключанка», состояла из восьми номеров и одной женщины за стойкой, которая выдала ему ключ с деревянной биркой и предупредила, что горячая вода бывает по вечерам, а не всегда.

В номере он открыл ноутбук и полтора часа читал то, что было выложено в сеть. Скверный, серый, неполный интернет районной библиотеки: подшивки местной газеты за две тысячи четвёртый, отсканированные без разбора и выложенные как есть, страницами, с пятнами от воды.

В номере за двадцать третье августа две тысячи четвёртого года, в колонке происшествий, между сообщением о краже велосипеда и заметкой о ремонте моста, было шесть строк:

«В ночь на четырнадцатое августа в районе деревни Белые Ключи утонула в реке Ключанке несовершеннолетняя Гущина Дарья Петровна, шестнадцати лет, учащаяся. Поиски тела результатов не дали. Возбуждено дело по факту несчастного случая. Следствие продолжается».

Матвей прочитал это дважды.

Потом он открыл фотографию — ту, из спальни, — он сфотографировал её на телефон, пока Вера отвернулась к окну, и весь путь до райцентра не думал об этом, а теперь открыл.

Девушка в каре, руки за спиной, взгляд за кадр. Шестнадцать лет. Дочь смотрителя.

Матвей закрыл ноутбук и долго сидел в темноте, потому что не хотел вставать и включать свет.

Он помнил то лето как череду подробностей, ни одна из которых никуда не вела: запах пыли на верхних полках библиотеки, ломкий шрифт описи, комары, жара, узкая кровать в гостевой комнате. Он помнил, что был счастлив — просто потому, что в девятнадцать лет можно быть счастливым без причины, в чужом доме, за чужой счёт.

Он не помнил ни одного человека с этой фотографии.

И, что было хуже всего, он не помнил, чтобы уезжал.

Утром, уже у двери, Гущин обернулся и сказал ему в спину:

— Вы её не защищайте.

— Кого?

— Её защищать не надо.

Матвей тогда решил, что он про убитую.

Глава 3

В людской пахло варёным луком и немного — пылью, которую вытирают каждый день и которая всё равно возвращается.

Женщина лет пятидесяти пяти, полная и быстрая, поставила перед ним тарелку, не спрашивая, голоден ли он, и села напротив, положив руки на стол.

— Софья Андреевна, — сказала она. — Кислицына. Двадцать лет здесь.

— Дербенёв.

— Знаю. — Она вздохнула. — Все уже знают. Защитник.

— А вы против?

— А я не за и не против, — сказала Софья. — Я суп варю. Ешьте, он с утра.

Суп был горячий, с крупой и курицей, и Матвей вдруг понял, что не ел с восьми утра и что это первый нормальный запах за сутки.

— Кто в доме живёт? — спросил он.

— Сейчас? Я. Лидия Густавовна жила наверху. Илья Борисович приезжает. Анна Николаевна — она при архиве, с июня.

— Анна Николаевна.

— Ремизова. — Софья произнесла фамилию чуть быстрее, чем предыдущие слова. — Хорошая женщина. Тихая. Руки золотые.

— Она где живёт?

— Во флигеле. Там две комнаты жилые, остальное заколочено.

— Давно она здесь?

— С июня. Приехала, показала письмо от Лидии Густавовны, ну и всё. Лидия Густавовна её сама наняла, через агентство, что ли. — Софья махнула рукой. — Я в это не лезу.

— Она вам нравится?

— А чего ей не нравится. — Софья помолчала. — Только она не ест с нами. Никогда. И на кладбище не ходит.

— На какое кладбище?

— На наше, за рекой. Там все лежат. — Софья посмотрела на него прямо и без всякой хитрости. — Двадцать лет все ходят, а она не ходит. Хотя кто ей там нужен, она нездешняя.

Матвей отодвинул тарелку.

— Софья Андреевна. Лидия Густавовна запирала дверь на ночь?

— Запирала. Всегда. — Она ответила сразу, не задумываясь. — Ещё при Борисе Аркадьевиче начала, а как он помер — совсем. Она и днём-то запиралась, если одна в доме. У неё сердце было плохое, она боялась, что помрёт ночью и никто не услышит.

— То есть запиралась она изнутри сама.

— Сама. Ключом. — Софья нахмурилась. — Только ключа-то у неё один был. Она его в столе держала, в верхнем ящике, где бумаги.

— Один?

— Один, — сказала Софья и вдруг сбилась. — То есть... осенью она второй отдала.

— Кому?

— Петру Ильичу. — Она сказала это тише. — Она осенью слегла, ночью, никого не было, скорая ехала полтора часа. Ну и она ему отдала ключ — на случай приступов. Чтобы он мог войти.

— Значит, у него был ключ от комнаты, где её нашли.

— Был, — сказала Софья. — Я на следствии тоже так сказала. Как было, так и сказала.

Она встала и принялась собирать посуду, хотя он ещё не доел. Это была не грубость, а способ закончить разговор, и Матвей это понял и не стал её держать.

На веранде сидел старик в светлом пиджаке, с папкой на коленях и с зонтом у ноги, хотя дождь кончился ночью. Он встал, когда Матвей поднялся по ступеням, — коротко, аккуратно, чуть наклонив голову.

— Лемешев, — сказал он. — Аркадий Терентьевич. Нотариус. Веду дела Корнов с девяносто четвёртого.

— Дербенёв.

— Наслышан. — Он сел обратно и указал на второе кресло. — Я приехал по надобности, но, полагаю, теперь всё это отложится.

— Завещание?

— Завещание, — согласился Лемешев. — И ещё кое-какие распоряжения. Лидия Густавовна за последний год трижды меняла волю. Трижды, за год, — повторил он с удовольствием человека, у которого всё разложено по датам. — Последняя редакция — двадцать второго июня.

— В пользу фонда?

— В пользу фонда, — сказал Лемешев. — Усадьба, земля, собрание. С условием музея и сохранения имени. Илья Борисович, полагаю, вам уже об этом говорил или скажет.

— Он приехал?

— Сегодня утром. — Нотариус взглянул на часы, будто проверяя, не опоздал ли он сам. — Я его видел в сенях, но разговаривать мы не стали. У него, знаете ли, манера разговаривать так, что потом не хочется.

Матвей сел.

— Аркадий Терентьевич. Кто ещё, кроме вас, знал, что ключ от спальни отдан Петру Гущину?

— Я знал, — сказал нотариус. — Пётр Ильич знал, естественно. Софья Андреевна знала, потому что она тут всё знает. Лидия Густавовна могла сказать кому угодно, она была женщина прямая и не любила тайн... — он сделал маленькую паузу, — из бытовых.

— А не из бытовых?

— Не бытовые тайны, — сказал Лемешев, вставая, — существуют ровно до того дня, когда их становится выгодно продать. Я работаю с людьми сорок восемь лет и вынужден это признать, хотя мне это неприятно.

Он взял зонт.

— Я завтра уеду в город. Если понадобится, телефон у следователя.

— Ещё одно, — сказал Матвей. — В доме остались старые бумаги? Двадцатилетней давности, по имению.

— В доме, — сказал Лемешев, — осталось всё. Дом стоит двести лет, и в нём ничего никогда не выбрасывали. — Он сошёл на ступень и обернулся. — И, простите мне совет, который вы не просили: не трогайте того, что лежит в нижних шкафах. Там нет ничего, кроме печали.

Архив занимал три комнаты в дальнем конце первого этажа: две с картотечными шкафами и одна — угловая, с одним узким окном, заставленным так, что света в ней почти не было.

Женщина сидела спиной к двери, при свете настольной лампы, и что-то перекладывала. На обеих руках были нитяные перчатки без пальцев.

— Анна Николаевна?

Она не вздрогнула, но перестала двигать руками и только потом обернулась.

— Да.

Лет тридцати пяти. Короткая стрижка, тёмная рубашка, ничего лишнего на лице. Когда она повернула голову, за ухом, чуть ниже линии волос, показался шрам — короткий и ровный, как будто от узкого предмета.

— Дербенёв. Защитник Гущина.

— Знаю. — Она сняла одну перчатку, потом вторую, аккуратно положила их на стол. — Я вас видела утром. Вы поднимались в спальню.

— Вы там были?

— Я нашла... — Она остановилась. — Нет. Меня там не было. Я была во флигеле. Тело нашёл он.

— Пётр Гуцин.

— Да.

— Вы видели его утром?

— Видела.

— И что он делал?

— Стоял у ворот и смотрел в землю, — сказала Анна. — Не подходил к дому. Я потом об этом подумала и до сих пор не понимаю.

— Что здесь за работа? — Матвей показал на шкафы.

— Опись. Всё, что в доме, — на учёте, но учёт сорок лет не сверялся. Лидия Густавовна хотела привести в порядок до юбилея дома. В сентябре сто лет музею... если считать по дате, которую она себе выбрала.

— Она вам платила?

— Тридцать тысяч. Плюс комната во флигеле.

— Много.

— Это её цена за мой месяц, — сказала Анна ровно. — Не моя.

Он обвёл взглядом комнату. Стол, лампа, три ящика на полу, каталог на подставке, а на подоконнике, между двумя стопками книг, выцветший прямоугольник на обоях — темнее остальной стены, с чуть заметной волнистой каймой по краю.

— Здесь что-то стояло, — сказал он.

— Ваза, — сказала Анна. — Синяя, с драконом по тулову. Гжель... скорее, не гжель, но грубая керамика. Её убрали в запасник, когда я начала разбирать угловую.

— И давно её убрали?

— Её не убрали. — Анна посмотрела на него, и в её лице ничего не изменилось, но голос стал суше. — Её здесь нет двадцать лет. Я вижу по обоям.

Матвей не сразу нашёл, что сказать, а когда нашёл, она уже снова надела перчатки.

Глава 4

Он вернулся в архив через сорок минут, когда Анна ушла обедать.

Дом в середине дня был не тот, что утром. Свет стоял низко и падал через анфиладу прямо на пол, длинными полосами, в которых висела пыль. Матвей постоял, слушая. Ни шагов, ни голосов, ни радио — только где-то далеко, за стеной, ровно и часто стучало: ремонт.

Угловая комната с одним узким окном имела четыре стены. Три были заняты шкафами. Четвёртая, та, что выходила в сторону двора, была закрыта высоким картотечным корпусом, придвинутым почти вплотную.

Почти.

Матвей присел и посмотрел на щель. Между корпусом и стеной оставалось сантиметров двадцать — достаточно, чтобы увидеть, что стена за ним не сплошная. В ней была дверь: узкая, одностворчатая, покрашенная той же краской, что и стены, с наличником, зашпаклёванным вместе с обоями. Если бы не наличник, её нельзя было бы заметить вообще.

Он подёргал корпус. Тот пошёл на удивление легко — по полу, на войлочных подкладках, оставляя за собой четыре тёмные полосы в пыли, точно такие же, как в двух сантиметрах левее.

Значит, корпус двигали. И двигали недавно, и не один раз.

Матвей отодвинул его ещё на полметра, наклонился и увидел то, что искал: в двери не было ни одного гвоздя. В ней остались четыре тёмных отверстия, два вверху, два внизу, и отверстия были чистые, без ржавчины, — значит, гвозди вынули недавно. Изнутри, со стороны двери, не было ни засова, ни замка, ни ручки. Только отверстие от щеколды и облупившаяся краска вокруг.

Он толкнул дверь ладонью. Она открылась.

За ней был запах. Не пыль, не мышь, не сырость, а холодный каменный запах, какой бывает в лестничных клетках, где никогда не бывает солнца.

Матвей закрыл дверь и пошёл искать ремонт.

Бригадир работал на втором этаже, в большой комнате, из которой вынесли всю мебель. Мужик лет пятидесяти, в синей рабочей куртке, с карандашом за ухом, он размечал стену и на вошедшего посмотрел без интереса.

— Дудник Валерий Петрович. Чего надо?

— Дербенёв. Я защитник Гущина.

Карандаш переместился из-за уха в руку.

— А. Ну и?

— В угловой комнате внизу, где архив, в стене дверь. Из неё вынуты гвозди. Кто вынимал?

— Мы.

— Когда?

— Восьмого. — Дудник сказал это без запинки, как человек, который помнит все даты своей сметы. — По смете стояло: расчистить и проверить кладку в старой внутренней двери. Мы её и расчистили. Двадцать лет на ней было четыре гвоздя и шпаклёвка.

— И что там за дверью?

— Лестница. Чёрная, в два марша, выходит на второй этаж в коридор. — Он махнул карандашом в сторону. — Вон туда, к спальне. Она так и называлась, чёрная, для прислуги. При советской власти ей не пользовались, потом заколотили, потом шпаклевали два раза.

— Гвозди куда дели?

— В жестянку. Там же, на подоконнике, мы всё складываем, что из стен выходит. Гвозди, шурупы, крюки. Хозяйка не велела выбрасывать.

— Дверь после этого запирали?

Дудник посмотрел на него как на человека, который спрашивает, закрывают ли на ночь калитку в огороде.

— А зачем? Там же внутри дома. Мы её прикрывали. — Он подумал. — И всё. Мы на той неделе работали в другом крыле, а внизу вообще с восьмого не были, у нас там всё сделано.

— Кто-нибудь ещё про эту дверь знал?

— Хозяйка знала, — сказал Дудник. — Она сама сказала: там, мол, есть старая дверь за шкафом, посмотрите. Она мне и показывала. — Он прищурился. — И смотритель заходил.

— Гуцин?

— Он самый, Пётр Ильич. — Дудник вернул карандаш за ухо. — Девятого или десятого, точно не скажу. Зашёл в угловую, постоял, посмотрел на эту дверь. Я думал, он мне что скажет. Он ничего не сказал и ушёл.

— Вы это следователю говорили?

— Говорил. — Дудник смотрел на него прямо. — Первому говорил, второму говорил. Все спрашивают одно и то же, а толку нет.

Матвей спустился вниз, взял с подоконника жестянку из-под чая, открыл. Внутри лежали четыре гвоздя, длинных, с широкой шляпкой, все четыре — согнутые на конце, как всегда бывает, когда гвоздь выдирают гвоздодёром. Он показал их свету. На шляпке одного остался след молотка, старый и глубокий.

Он поставил жестянку на место, вернулся к двери и шагнул внутрь.

Ступени были деревянные, широкие, стёртые. Первый марш шёл вверх почти прямо, второй поворачивал налево. Стены тут были не штукатурены, а просто покрашены серой краской, и в стене — Матвей потрогал — были видны следы заделанных проводов и один старый, забитый гвоздь, на котором когда-то висела лампа.

Он поднялся. Наверху, сразу за поворотом, была ещё одна дверь, и она была приоткрыта.

За ней шёл коридор второго этажа. Тот самый. Слева — анфилада с окнами, справа — четыре двери, из которых одна, четвёртая, заклеена полосой бумаги с печатью.

От двери архива до двери спальни было четыре шага. Пять, если идти не спеша.

Матвей постоял, привыкая. Потом присел на корточки и посмотрел на порог с той стороны, где начинался коридор.

Доски здесь были темнее и влажнее, чем в комнате, — старая сосна, которую двадцать лет не мыли. И на ней, поперёк, ближе к левому косяку, была царапина: короткая, глубокая, полулунная, с чуть подсохшим краем. Такие остаются от набойки, когда человек задевает порог каблуком и переносит вес неловко, торопясь.

Царапина была свежая. Края ещё не успели забиться серой пылью, которая лежала вокруг.

Матвей выпрямился и отошёл на шаг. Дом вокруг молчал ровно, как молчат дома, в которых не осталось никого, кто мог бы отозваться. Где-то внизу, за стеной, опять размеренно стучал ремонт; наверху, за заклеенной дверью, лежала спальня, из которой вынесли всё, кроме запаха валидола.

Он стоял точно там, где стоял убийца, и это было единственное место в доме, откуда путь к запертой комнате открывался сам, без усилия: четыре шага, лестница, дверь, которую никто не запирает.

И он был, кажется, единственный, кто об этом уже догадался.

Глава 5

В райцентр он вернулся к семи вечера и почти час искал нужный дом, потому что навигатор знал здесь две улицы из восьми, а местные объясняли дорогу по магазинам, два из которых давно закрылись.

Дом Веры стоял на краю города, за автобусным кольцом, и был из тех, что строили в конце восьмидесятых, — серый, четырёхэтажный, с балконами, застеклёнными кто во что горазд. На третьем этаже горело одно окно.

Он поднялся, постоял на площадке и позвонил. За дверью было тихо, потом щёлкнул замок, и она открыла — в домашней рубашке, босиком, с полотенцем на плече, и на секунду в её лице не было ничего, кроме усталости.

— А, — сказала она. — Вы.

— Я.

— Явились за бумагами.

— Явился за бумагами, — согласился Матвей.

Она смотрела на него ровно столько, сколько нужно, чтобы решить, и отступила в сторону.

Квартира была маленькая и очень плотная. Книги стояли в три ряда, где полагалось и где не полагалось; на кухонном столе лежали папки, кружка, яблоко и наручные часы, снятые и забытые. На подоконнике сохли две чашки. Из мебели угадывалась только та, что осталась от родителей.

— Проходите, — сказала Вера. — Только не делайте вид, что вам интересно, как я живу.

— Мне не интересно, как вы живёте.

— Вот и хорошо.

Она включила чайник и села напротив, подперев подбородок кулаком. Матвей сел на табурет у окна, спиной к стеклу, и положил на колени блокнот.

— Мне нужны копии, — сказал он.

— Какие.

— Протокол осмотра. Заключение судмедэксперта. Протокол допроса Гущина.

— Это всё в деле.

— Дело у вас.

— Дело у нас, — сказала Вера. — А вы — сторона. Вам дадут знакомиться на этапе, который для этого предусмотрен. Не раньше.

— Тогда я буду получать это через суд, по три недели на каждый лист, и к зиме мы оба будем знать ровно то, что знаем сейчас.

— Это правильный, законный путь.

— Это глупый путь.

Вера чуть улыбнулась — коротко, одним углом рта — и тут же убрала улыбку, будто поймала себя.

— Вы за сутки просите у меня то, чего не просят за месяц, — сказала она. — Почему вы думаете, что я вам что-то дам?

— Потому что вы не верите, что убил Гуцин.

— Я обязана верить в то, что доказано.

— Вы не обязаны. Вы обязаны установить.

Она молчала примерно полминуты. Чайник вскипел и щёлкнул; она встала, заварила два чая, второй поставила перед ним, не спросив, хочет ли он.

— Хорошо, — сказала она. — Протокол осмотра — завтра. Заключение эксперта — послезавтра, когда придёт подписанное. Допрос — как только прокурор согласует, а это будет долго, потому что там всё гладко и всем всё нравится.

— Спасибо.

— Не благодарите. — Она села обратно. — Я делаю это не для вас. Я делаю это потому, что моя мать лежит в морге, а через два дня её положат в землю, и до этого момента я хочу знать, кто её убил. Если от вас будет толк — хорошо. Если нет — я вас выгоню.

Матвей кивнул и записал в блокнот: «Пестова — заключение, ср.». Потом поднял голову и невольно остановился.

На книжной полке, между томами, стояла фотография в деревянной рамке — обычной, из тех, что покупают в киоске. Август. Двор. Флигель с открытыми окнами. Пятеро, зажмурившиеся от солнца, и шестой, не попавший в кадр.

Та же самая.

— Откуда у вас это? — спросил он.

Вера посмотрела туда, куда он смотрел, и не отвела глаз.

— Мать дала. В июне. — Она произнесла это спокойно. — Приехала в город, чего не делала три года, посидела вот тут, на этом табурете, и оставила мне снимок. Сказала: пусть у тебя будет.

— Зачем?

— Я спросила. — Вера взяла чашку и обхватила её двумя руками, хотя чай был горячий. — Она сказала: скоро будет юбилей, будет книга, и я хочу, чтобы ты видела, с чего всё началось.

— Книга?

— Я не уточнила. — Она поморщилась. — Тогда мне это показалось красивым. Мне было некогда, у меня был суд через неделю. Я сказала «хорошо, мама».

Матвей смотрел на снимок.

— Там есть человек, — сказал он, — в льняной рубашке, слева от девушки.

— Есть.

— Вы знаете, кто это?

Вера поставила чашку.

— Знаю, — сказала она.

— Скажете?

— Нет, — сказала Вера. — Не сегодня.

Он не стал настаивать. За двадцать лет в профессии он усвоил, что людей, которые говорят «не сегодня», бессмысленно спрашивать «а когда», — они всё равно ответят не тогда, когда вы ждёте, а тогда, когда им будет хуже.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда ещё один вопрос, и я уйду.

— Один.

— Кто ещё, кроме вас, видел этот снимок?

— Брат, — сказала Вера. — Я показывала брату. Он посмотрел и сказал, что не помнит никого.

— Не помнит?

— Так и сказал. — Она чуть наклонила голову. — Меня это тогда удивило, но я не придавала значения. У Ильи память избирательная: он помнит все свои долги и ни одной чужой обиды.

Матвей встал. В прихожей было темно, и он долго искал куртку на вешалке, пока она сама не подала ему её — легко, как подают своим.

— Дербенёв, — сказала она в темноте.

— Да.

— Ты уехал двенадцатого?

Он остановился.

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что восьмого августа две тысячи четвёртого года моя мать записала в дневнике, что студент приедет работать. А пятнадцатого она записала, что студент уехал. — Вера говорила ровно, без нажима, как читают вслух справочник. — Двенадцатого в описи нет.

— Я уехал двенадцатого, — сказал Матвей.

— Ага, — сказала Вера.

И замолчала так, что стало слышно, как за стеной у соседей играет телевизор.

Матвей вышел на площадку и закрыл за собой дверь. Он шёл вниз, считая ступени, чтобы не думать, и думал ровно об этом: пятнадцатого августа две тысячи четвёртого года, в описи, которую он вёл своей рукой, студент Дербенёв уехал.

Он не помнил ни того дня, ни этой записи.

И он не помнил, чтобы Вера Корн была на той фотографии шестнадцатилетней девочкой с обрезанными волосами.

А она была.

Глава 6

Ирине Даниловне Пестовой было под пятьдесят, и она курила на территории места происшествия с той спокойной уверенностью человека, которого двадцать лет никто не мог заставить делать иначе.

— Вы кто? — спросила она, не оборачиваясь.

— Адвокат Гущина.

— А. — Она затушила сигарету о подошву и спрятала окурочек в карман, потому что урны на крыльце не было. — Ну пойдёмте, адвокат. Второй раз показывать легче, чем первый.

В спальне работал переносной свет, поставленный на стопку книг вместо треноги. Окно было открыто, но запах в комнате никуда не делся: валидол, старая шерсть и что-то ещё, сладковатое, что Матвей не смог назвать и потом весь день вспоминал.

— Что вы хотите знать? — Пестова натянула перчатку и поправила свет. — Только не спрашивайте меня «когда». Я вам отвечу, и вы уйдёте с неправильным числом.

— Почему неправильным?

— Потому что в этой комнате нельзя получить правильное число, — сказала она с удовольствием, каким говорят люди, которых наконец спросили о том, что им интересно. — Смотрите.

Она указала на стену слева от кровати. Там была не печь и не камин, как он решил утром, а широкая изразцовая топка, встроенная в стену ещё при постройке дома: дверца на латунных петлях, снизу — поддувало, вокруг — плитка с выцветшим синим узором. Матвей видел такие в старых московских квартирах.

— Вот это, — сказала Пестова, — и есть ваша проблема. Или моя.

— Жгли дрова?

— Жгли каждый вечер. Хозяйка мёрзла, у неё было плохое кровообращение, и ей было холодно даже в августе. — Она открыла дверцу. Внутри, на поду, лежал пепел, ровный, серый, с двумя обугленными полешками, не догоревшими до конца. — Истопили и в ночь на тринадцатое, и в ночь на четырнадцатое. Я проверила: зола двухслойная.

— То есть тринадцатого вечером тоже топили.

— Тринадцатого вечером, — подтвердила Пестова. — И вот вам первое число, которое никуда не годится. Температура тела зависит от температуры среды. Пока двери в комнате закрыты и топка отдаёт, тело остывает медленнее. За ночь здесь было не восемнадцать градусов, как было бы в нормальной спальне, а заметно больше, и держалось так до утра.

— Насколько больше?

— Достаточно, — сказала она. — Достаточно, чтобы я не подписывала заключение по первому осмотру. Мне нужно два мнения, а лучше три: печень, стекловидное тело и математика. Мы всё взяли, но математика в этом доме будет врать, и я не хочу врать вместе с ней.

Она закрыла дверцу и выпрямилась.

— Чем ещё она топила?

— Дровами. Дрова в сарае, сухие, колотые, всё под рукой. — Пестова усмехнулась. — А что, ищите, кто мог войти?

— Я ищу, как.

— Тогда вам к смотрителю. — Она сняла перчатку. — В доме всё делал он. Дрова, вода, топка. Я спросила у домработницы: топили в ту ночь? Она сказала — топили. Кто затопил? Она сказала — а кто всегда.

Матвей вышел из комнаты и пошёл искать Софью.

Она была в подвале, у поленницы, и пересчитывала какие-то банки, хотя никто её об этом не просил.

— Софья Андреевна.

— Чего.

— Камин в спальне. Кто его топил в ночь с тринадцатого на четырнадцатое?

— Пётр Ильич, — сказала она, не задумываясь. — Он всегда топил. Лидия Густавовна свечей боялась, у неё от газа голова болела, она только дровами и грелась. Он вечером приносил, топил, закрывал поддувало. Так двадцать восемь лет.

— Во сколько он закрывал поддувало?

— Не поздно. Часов в девять, в десять. — Софья поставила банку и вытерла руки о фартук. — Он в девять уходил домой. Как часы. Собака во дворе — и та по нему время знала.

— А утром?

— А что утром.

— Утром четырнадцатого топка была тёплая?

— Тёплая. — Софья нахмурилась, припоминая. — Когда приехали, все ходили, я тоже зашла, ну и рукой тронула, по привычке. Тёплая была дверца. Я ещё подумала: значит, ещё не остыла.

— Это было во сколько?

— В начале восьмого, — сказала Софья. — До вас тут целая толпа была, я никого не считала.

Он записал и это: двери топки, начало восьмого, тёплая на ощупь.

Пестова стояла на крыльце и курила вторую, отвернувшись от ветра.

— Ирина Даниловна.

— Ну.

— Насколько сильно может сместиться время?

Она долго молчала. Потом посмотрела на него — уже без удовольствия, серьёзно.

— Я вам скажу так, — сказала она. — Заключение будет: смерть в период между двумя и четырьмя ночи. Это укладывается в топку, в поддувало и в её таблетки. И я это подпишу, потому что это честный вывод из того, что я вижу.

— А если не только из того, что видите?

— А если не только, — сказала Пестова, — то при этой топке, при закрытом поддувале и при том, что её укрыли одеялом до подбородка, я могла бы ошибиться часов на шесть. В любую сторону. И я об этом в заключении напишу отдельным абзацем, чтобы потом не говорили, что я умная только задним числом.

Она щёлкнула зажигалкой, прикурила и добавила, уже в сторону:

— Только вы это не туда несёте, адвокат. Рано.

Матвей не стал отвечать. Шесть часов в любую сторону — это была дыра, в которую можно было провалить всё обвинение, и одновременно такая ширина, что в неё помещалось всё: и Пётр Гущин, и тот, кто шёл по чёрной лестнице в четыре шага от запертой двери.

Он стоял на крыльце, смотрел, как Пестова уходит к машине, и впервые за двое суток почувствовал не интерес, а то холодное, что приходит, когда вещь, лежавшая на месте, вдруг оказывается перенесённой на другое место — и ты не знаешь, кто её перенёс.

Смотрительский дом стоял за парком, в двухстах метрах от усадьбы: одноэтажный, приземистый, с пристроенной верандой и с крышей, которую перекрывали лет десять назад и с тех пор не трогали. Ключ висел на гвозде под навесом, за водостоком, — Матвей нашёл его не сразу, а нашёл потому, что Софья, глядя в сторону, сказала: «Там, за трубой, посмотрите». Она не пошла с ним.

Внутри было чисто. Не как убирают к приходу гостей, а как убирают, когда уборка заменяет разговор с самим собой: пол вымыт, посуда на сушилке поставлена по росту, на столе ничего, кроме клеёнки, приколотой по углам. В сенях висела рабочая куртка, две пары сапог стояли носками в стену. И всё остальное было чёрным: рубашки на плечиках, свитер на спинке

стула, полотенце на крючке — всё, кроме одной белой рубашки, висевшей отдельно и завернутой в целлофан.

Он прошёл в комнату, потом в другую. Их было три, и третья оказалась закрыта — не на замок, а на щеколду, и щеколда была новая, латунная, привинченная поверх старой краски.

Матвей постоял перед ней.

Он понимал, что делает. Он двадцать лет объяснял клиентам, что нельзя входить туда, куда не приглашали, что один неверный шаг превращает защиту в соучастие. И всё-таки отодвинул щеколду, потому что другого способа понять человека, который двадцать восемь лет топил чужую печь и двадцать лет носит чёрное, у него не было.

За дверью была детская.

Кровать с металлическими спинками, застеленная покрывалом в мелкий горошек. Письменный стол у окна, на столе — тетради, стопкой, и чернильница, хотя чернильницами не пользовались лет сорок. На стене — вырезанная из журнала картинка с видом какого-то города и рядом расписание уроков за сентябрь две тысячи четвёртого года, написанное аккуратно, с нажимом, девятой ручкой. На гвоздике у двери висел школьный фартук.

Пыли не было.

Матвей это понял не сразу, а когда уже прошёл два шага. Он посмотрел на подоконник, где пыль должна была лежать слоем, и увидел, что подоконник вытерт — не вымыт, а именно вытерт, насухо, с оставшимися в углу двумя серыми мазками. Он посмотрел на пол у кровати. Потом накрыл ладонью край стола и поднял руку: на ладони было чисто.

В комнате, в которой двадцать лет никто не жил, убирали. Каждую неделю. Каждую неделю кто-то входил сюда с тряпкой и вытирал пыль с расписания уроков за сентябрь две тысячи четвёртого года.

Матвей стоял и смотрел на горошек на покрывале, и ему вдруг стало не по себе не от того, что он увидел, а от того, как это устроено: человек живёт в трёх комнатах и в одной из них двадцать лет поддерживает порядок в комнате мёртвой девочки. Так делают не сумасшедшие. Так делают те, кто ничего другого сделать не может.

Он уже повернулся уходить, когда увидел на стуле у стола то, чего здесь быть не должно было.

На стуле лежал полиэтиленовый пакет из аптеки, свежий, с яркой наклейкой, и в нём — две упаковки бинта и большая бутылка перекиси. Чек был прищиплен к пакету. Матвей наклонился, не касаясь, и прочитал дату: двенадцатое августа две тысячи двадцать четвёртого года, семнадцать часов сорок минут, аптека на Советской, райцентр.

За день до убийства.

Он вышел из дома, старательно прикрыв за собой дверь и вернув ключ на гвоздь за водосток, и постоял на крыльце, глядя в сторону парка.

Смотритель Пётр Гушин, шестьдесят один год, с четырнадцатого августа содержится в изоляторе в райцентре. Оттуда его не выпускают ни в аптеку, ни куда-либо ещё. А в доме, в запертой на новую щеколду комнате его дочери, лежит пакет из аптеки на Советской с чеком от тринадцатого августа, семнадцать сорок.

Матвей стоял на крыльце и думал о том, что чем дальше он идёт, тем меньше в этом деле остаётся людей, которые не имеют ключей.

О том, кто мог войти сюда после тринадцатого числа и зачем ему понадобилось класть бинты на стул в комнате, куда двадцать лет не заходил никто, кроме отца, он пока не мог ответить даже приблизительно.

Он вернул ключ на гвоздь за водосток, прикрыл калитку и пошёл через парк к усадьбе, и всю дорогу у него перед глазами стояло расписание уроков за сентябрь две тысячи четвёртого года, написанное девятым номером, с нажимом, аккуратно, как пишут девочки, у которых всё должно быть правильно.

Глава 7

Чёрный внедорожник стоял во дворе поперёк гравийной дорожки, так, чтобы никто не мог ни въехать, ни выехать, и это было первое, что сказало Матвею о хозяине машины больше, чем он хотел знать.

В доме горел свет — днём, в августе, во всех четырёх окнах первого этажа.

Илья Борисович Корн оказался крупным мужчиной в дорогом светлом пальто, которое он не снял, хотя в доме было тепло. Он стоял посреди сеней и говорил сразу с двумя людьми: с Софьей, которая держала в руках список и молчала, и с бригадиром Дудником, который слушал его, прислонившись к косяку.

— Значит, так, — говорил Илья. — Ремонт останавливаем. Всё, что начато, — консервируем, материалы убираем в сарай. Понял? Никаких работ, пока не решим с домом.

— Мы по смете, — сказал Дудник.

— Смету я закрою. — Илья повернулся к Софье. — Похороны в среду. Венки — три, не больше, я не хочу этот балаган с лентами. Поминки — в столовой, тридцать человек.

— Лидия Густавовна хотела, чтобы...

— Лидия Густавовна хотела многого, — сказал Илья и наконец заметил Матвея.

Он замолчал, и в наступившей тишине стало слышно, как на кухне капает вода из крана.

— А вы, значит, тот самый, — сказал он. — Адвокат.

— Дербенёв.

— Тот самый, который защищает человека, который убил мою мать.

— Тот самый, — согласился Матвей.

Илья подошёл на шаг. Он был выше на полголовы и пользовался этим так, как пользуются люди, привыкшие, что с ними не спорят.

— И как вам это? — спросил он тихо. — Спится?

— Как обычно.

— Вот как. — Илья усмехнулся, но глаза остались прежними. — Мать лежит в морге, а у вас всё как обычно. Профессия.

— Профессия, — сказал Матвей. — Мне платит государство, а не вы, и я не выбираю, кого защищать. Но раз уж мы разговариваем, ответьте на три вопроса, и я уйду.

— С чего это я буду отвечать.

— С того, что вы сейчас распоряжаетесь чужим домом в чужом пальто, — сказал Матвей. — И пока вы это делаете, следователь записывает в протокол, кто, когда и с какой уверенностью занял место убитой.

Тишина стала плотнее. Дудник отлепился от косяка и без всякой поспешности вышел во двор. Софья тоже исчезла — просто перестала быть, как это умеют люди, работающие в домах.

Илья снял пальто и бросил его на кресло. Под пальто была рубашка с закатанными рукавами и часы, которые Матвей узнал по цене лучше, чем хотел бы.

— Ну, — сказал он. — Давайте.

— Когда вы приезжали в последний раз?

— Тринадцатого.

— Утром, днём, вечером?

— Днём. Часа в четыре, может, в пять. Я приехал к матери поговорить, но она не вышла. Мне сказали, что она отдыхает. Я уехал.

— Вы ночевали здесь?

— Я ночевал в «Ключанке» в райцентре. И это, если вам интересно, ничего не значит, потому что там девочка на ресепшене меняет смену в восемь вечера, и в журнале я не расписывался, потому что у меня карта, а карта — это не журнал.

— Знаю, — сказал Матвей. — Это как раз и значит.

Илья посмотрел на него внимательно, в первый раз как на человека, а не как на неприятность.

— Двенадцатого вы тоже приезжали?

— Двенадцатого тоже. — Он сказал это не сразу, будто прикидывая, что выгоднее. — Да.

— Зачем?

— Разговор был. — Илья отошёл к окну и посмотрел во двор, где Дудник грузил в машину остатки материалов. — Мать собралась отдать дом фонду. Всё: дом, землю, сад, собрание. Мне оставалось... даже не знаю, как это назвать. Мне оставалось ничего.

— Вы с ней поссорились?

— Мы поговорили на повышенных тонах, — сказал Илья. — Это не ссора, это способ разговора в нашей семье.

— Кто ещё слышал?

— Да весь дом. — Он пожал плечами. — Я не шептал.

Матвей записал: «12.08, скандал о фонде, слышали все».

— Второй вопрос. Кто был в доме в две тысячи четвёртом году? — спросил он.

Илья обернулся.

— В каком смысле.

— Летом две тысячи четвёртого. Вы приезжали?

— Мне было двадцать четыре, — сказал Илья. — Я жил здесь.

— Кто ещё?

— Люди ходили. — Он пожал плечами. — Студент какой-то работал, из города, наверху в библиотеке. Гуцин с дочкой. Я их не считал.

— Гуцин с дочерью. — Матвей не отвёл глаз. — Вы её помните?

— Я её не помню, — сказал Илья.

Он сказал это ровно, спокойно, без запинки — так, как говорят люди, которые репетировали эту фразу, а потом перестали замечать, что репетируют.

— Третий вопрос, — сказал Матвей. — Кто такая Анна Николаевна Ремизова?

Илья молчал секунды две.

— Архивариус, — сказал он. — Мать её наняла.

Дверь из анфилады открылась, и вошла Анна — с папкой, в тёмной рубашке, с собранными в узел волосами. Она увидела Илью, остановилась на полшага и переложила папку из левой руки в правую.

Матвей отметил это. Он отметил это без всякой мысли, просто потому, что двадцать лет читал людей на допросах, и заметил то, что заметил.

Илья смотрел на неё дольше, чем нужно смотреть на архивариуса.

— Анна Николаевна, — сказал он. — Вы всё ещё здесь?

— Я никуда не уезжала, — сказала Анна.

Она сказала это ровно, без выражения, положила папку на стол у двери и вышла, и в том, как она вышла, не было ничего — ни обиды, ни спешки, ни вызова. Именно поэтому Матвей запомнил фразу целиком и записал её в блокнот.

Илья отвернулся к окну.

— Что вы пишете?

— Работаю, — сказал Матвей.

— Вы пишете про неё. — Он не обернулся. — Зачем?

— А вы зачем спросили, всё ли она здесь?

Илья ничего не ответил.

Через минуту он взял пальто, надел его и стал ждать, когда машина выедет с дорожки, чтобы выехать самому. В сених пахло мокрой шерстью и бензином.

— Последнее, — сказал Матвей. — Кто, кроме вас, имеет доступ в дом?

— Ключи? — Илья застёгивал пальто и говорил небрежно. — У меня. У Софьи. У матери. У смотрителя целая связка, он же двадцать восемь лет здесь всем заведовал.

— Вы знали, что Лидия Густавовна отдала Гушину второй ключ от своей спальни?

— Знал, — сказал Илья.

— Откуда?

— А это, — он наконец посмотрел на Матвея, — осенью обсуждалось за ужином. Она сама сказала, что отдала. Она была не в том состоянии, чтобы решать такие вещи... — он поднял руку, будто отводя возражение, которого не было, — не подумайте, я не про безумие. Я про то, что у неё сердце остановилось на двадцать секунд в ноябре. После такого человек либо всё отпускает, либо начинает раздавать ключи.

— То есть все знали.

— Все. — Илья улыбнулся одной стороной лица. — В этом доме всё знают все. Дом маленький, стены тонкие, а люди злые. Вот вы сейчас походите-походите, да и узнаете про всех такое, что лучше бы не знать.

Он вышел, и внедорожник наконец развернулся во дворе, с хрустом пройдясь по размытому гравию.

Матвей постоял, глядя в окно. Потом открыл блокнот и посмотрел на последнюю запись.

«Все знали про ключ».

Это был четвёртый человек за два дня, который говорил ему про второй ключ — и все говорили с одной и той же интонацией: спокойно, охотно, с готовностью. Так говорят об удобном факте, который всем нравится.

Факт и в самом деле был удобный. Мужчина, у которого нашли ключ от комнаты, сказал, что убил. Обвинение закрыто ещё до того, как открылось.

Слишком удобный.

Матвей убрал блокнот и пошёл в архив — потому что если в этом доме всё знают все, то женщина, которой не задал вопроса никто, была ровно одна, и стояла она на коленях перед ящиками в угловой комнате в нитяных перчатках.

Глава 8

К одиннадцати утра в комнате для свиданий было душно, потому что окно в ней не открывалось с позапрошлого ремонта, а вентиляция работала так, как работает вентиляция в зданиях, построенных до революции: то есть никак.

Пётр Гущин сел напротив, и Матвей в первый раз увидел его без удивления. Большой человек в чёрном, с руками, которые он держал на столе всё свидание, как держат руки люди, привыкшие к работе и не привыкшие к разговорам.

— Здравствуйте, Пётр Ильич.

— Здравствуйте.

— Я был в усадьбе. — Матвей раскрыл блокнот, не глядя в него. — Ремонт остановили. Илья Борисович распорядился.

— Это его право, — сказал Гущин.

— Он распоряжается как хозяин.

— Он и есть хозяин. Пока.

— Он хочет закрыть похороны быстро и без венков.

— Это его мать. — Гущин чуть пожал плечами. — Ему решать.

Матвей помолчал. Он уже понял, что человек напротив не будет спорить ни о наследстве, ни о ремонте, ни о венках, и что все его крючки здесь не ловят.

— Меня в дом не пускают, — сказал Матвей. — Ни в усадьбу без следователя, ни в бумаги без прокурора. Но я был в другом месте. В смотрительском доме.

Руки Гущина на секунду перестали быть руками: он прижал их к столу и снова отпустил. Это было первое движение за два свидания, которое он не смог удержать.

— Ключ за водостоком, — сказал Матвей. — Вы его там держите двадцать лет?

— Тридцать.

— Я вошёл. — Он не извинялся. — Я был в вашей комнате, в вашей кухне и в третьей комнате, за щеколдой.

— Зачем.

— Затем, что должен понять, кого защищаю.

— Ну и поняли?

— Понял, — сказал Матвей. — Что вы не убивали.

Тишина. За стеной кто-то прошёл — три шага туда, три обратно, как и в прошлый раз; Матвей начал подозревать, что там просто ходит человек с бессонницей.

— Это вам следователь сказал? — спросил Гущин.

— Это сказала комната, в которой двадцать лет вытирают пыль.

Гущин смотрел на него, и в этом взгляде не было благодарности. Не было вообще ничего, что Матвей ожидал увидеть: ни облегчения, ни испуга, ни злости. Только очень старую, очень усталую оценку — как он оценил бы прочность балки, которую надо менять.

— Вы её трогали? — спросил он.

— Нет.

— Стол?

— Ладонью. Вот так. — Матвей положил руку на стол и поднял.

— Больше не трогайте, — сказал Гущин. — Ничего там не трогайте. Это моя.

— Ваша комната? Или её?

— Её.

Он произнёс это слово коротко, как произносят то, что нельзя произносить вслух, и Матвей понял, что впервые за два дня услышал от этого человека настоящий звук.

— Пётр Ильич. — Он подался вперёд. — Кто ещё заходит в тот дом?

— Никто.

— За щеколдой лежали бинты и перекись. Чек от тринадцатого августа, семнадцать сорок. Вы в райцентре тринадцатого не были, потому что вас туда не пустят до сих пор.

— Это мои бинты, — сказал Гушин.

— Зачем вам бинты.

— Руки. — Он показал их: ладони в белых трещинах, как старая штукатурка. — С августа по октябрь хуже всего. Резиновые перчатки не помогают.

— И вы держите их в запертой комнате дочери?

— Они там лежали, — сказал Гушин. — Я их туда не носил.

— А кто?

Он не ответил. Он смотрел в стол, и Матвей видел, как в этом большом человеке идёт та самая работа, которая идёт в людях, когда они решают: сказать или не сказать. И он видел, что решится не в его пользу.

— Пётр Ильич, — сказал Матвей. — Я вас не тороплю. Я приеду ещё. Но вы должны меня понять: если в тот дом ходит кто-то ещё, я найду это сам. Только тогда я найду это в материалах дела, и найду это там как версию — а не как то, что вы мне сказали.

Гушин поднял глаза.

— А вы бы сказали?

— Не знаю, — честно ответил Матвей.

Впервые за разговор Гушин посмотрел на него без оценки.

— Хорошо, что не знаете, — сказал он.

Конвоир стоял в дверях, поглядывая на часы. До конца свидания оставалось шесть минут.

— Ещё одно, — сказал Матвей. — Вы двадцать лет ходили в лес. Я видел след на тропинке: он протоптан до самой дальней просеки, где ничего нет. Что там?

Гушин молчал долго. Потом сказал:

— Там сухо.

— И всё?

— Там сухо, — повторил он. — Я в первый год хотел поставить. Камень. Но у неё отца на кладбище не было, они оба под усадьбой, а девочку я не мог туда. Она реки боялась. Она всегда, с трёх лет, боялась воды, а он говорил: ребёнку надо купаться. — Он говорил ровно, глядя в стол, будто перечислял, что делал в огороде. — Двадцать лет. Каждую неделю. Я там лопату втыкал, чтобы земля была мягкая.

— Кто-нибудь знает?

— Никто.

— И вы никогда не рассказывали?

— Нечего рассказывать, — сказал Гушин.

Он встал, не дожидаясь конвоира, как и в прошлый раз, и это выглядело ещё более неверным, чем в первый: человек такого роста и такого веса не должен подниматься так быстро. У двери он остановился.

— Я её уже хоронил, — сказал он в сторону, ни к кому, но так, что стало ясно: это адресовано Матвею. — Дважды хоронить нельзя.

Конвоир открыл дверь. Гушин вышел, и дверь закрылась с тем коротким, негромким звуком, какой бывает у стальных дверей с резиновым отбойником.

Матвей ещё минуту сидел, не двигаясь, потом открыл блокнот и записал фразу целиком. «Я её уже хоронил. Дважды хоронить нельзя».

Он написал её и перечитал, и в третий раз за эти три дня подумал, что в этом деле у него на руках не одна смерть, а две.

В лес он поехал в тот же вечер.

Дорога кончилась за мостом: дальше начиналась грунтовка, размытая так, что машину пришлось оставить у поворота. Матвей шёл по тропинке вдоль реки, потом тропинка свернула в березняк, потом начался сосняк на сухом песчаном склоне — том самом, где, по словам Гущина, было сухо.

Тропинка была не просто протоптана. Она была устроена: в двух местах через канаву лежали доски, в третьем — вбит колышек с обрывком бечёвки, чтобы не потерять поворот в темноте. Так делают не прогулочные дорожки. Так делают дорогу, по которой ходят круглый год, в любую погоду, к одному определённом месту.

Просека открылась внезапно, за поворотом: небольшая поляна, метров восемь на восемь, вырубленная так давно, что пни успели зарости мхом.

В середине поляны земля была темнее и ровнее, чем вокруг.

Он подошёл. Это был прямоугольник, примерно два метра на восемьдесят, обложенный по краю небольшими камнями — просто подобранными в округе, без всякого порядка, но уложенными плотно, один к одному. Земля внутри была трижды или четырежды перекопана, и перекопана недавно: комья держались, трава не успела пробиться, дождь ещё не размыл борозды.

У дальнего края стояла лопата, всаженная в землю по самый штык, и на черенке была надета рукавица, чтобы не намок черенок.

Матвей стоял и смотрел, и в нём поднималось то, что он не умел назвать словом, но узнавал всегда: ощущение чужой жизни, которая целиком ушла в одно дело.

Один человек двадцать лет ходил в этот лес, чтобы подготовить место для дочери, тело которой не нашли. Он не поставил крест, потому что крест — это признание, что она мёртвая. Он не оставил землю зарастать, потому что тогда это было бы место, а не могила. Он вскапывал её ровно столько раз в год, чтобы почва оставалась мягкой, и уходил.

И тут Матвей увидел то, из-за чего остался стоять ещё десять минут.

Земля на поляне была разная. Вдоль тропы, там, где ходили постоянно, песок лежал твёрдо и почти не держал следов. Но у самого края прямоугольника, где почва была мягче, отпечатались две дорожки — одна широкая, тяжёлая, глубоко продавленная, явно мужская. И вторая, поверх первой и рядом с ней: узкая, короткая, с чёткими краями, и глубоко оттиснутая только в носке.

Следы второй пары были свежее.

Матвей присел. Следы были не мужские — по крайней мере, не такие, как первые. Кто-то небольшой и лёгкий ходил по этой поляне, стоял у этой земли и уходил обратно, и делал это недавно, потому что края отпечатков ещё держались, а погода последние сутки была сухая.

Он выпрямился и медленно осмотрелся — по всей поляне, по краю, по кустам, как всегда осматривал пространство, — и совершенно ничего не увидел, кроме сосен, мха и вкопанной лопаты с рукавицей на черенке.

Но он уже знал, что запомнит этот вечер надолго.

Потому что место, о котором старик говорил «никто не знает», знал ещё кто-то. И этот кто-то приходил сюда — к пустой могиле, которую двадцать лет готовили для девушки, утонувшей в реке, тело которой так и не нашли.

Глава 9

— Только вы это, — сказала Софья, — свет потом погасите. И дверь на ключ. Я в девять лягу, я рано встаю.

— А если меня спросят, почему я здесь ночью?

— А кто вас спросит? — Она посмотрела на него без всякой насмешки. — В доме никого нет.

Она ушла в свою комнату за кухней, и через десять минут в доме стало тихо так, как бывает тихо только в очень старых зданиях: не беззвучно, а густо. Дом продолжал жить своей жизнью — где-то щёлкало, что-то оседало, в трубе тянуло воздух, — и в этой жизни Матвей был лишним и знал это.

Он сидел в угловой комнате архива, при лампе, в куртке, потому что от пола тянуло холодом, и разбирал каталог.

Лидия Густавовна вела его семьдесят с лишним лет спустя после того, как в доме появился первый музейный шкаф, и вела так, как ведут учёт в семьях, где потерять бумагу страшнее, чем потерять деньги. Каждая позиция — на карточке. На каждой карточке: номер, описание, откуда поступило, дата, рука. Карточки стояли в деревянных ящиках, ящики — в шкафах, шкафы — по номерам, и к каждому шкафу в отдельной тетради был свой реестр.

Три часа Матвей читал тетради. Он делал это медленно, потому что не искал ничего конкретного, а ждал, когда система сама покажет ему шов.

И она показала.

Журнал поступлений с тысяча девятьсот семьдесят второго года вёлся одной рукой до девяносто первого, дальше — второй рукой до две тысячи первого, а с две тысячи второго — рукой Лидии Густавовны, и её рука была хуже всех: крупная, с наклоном влево, с нажимом, от которого на обратной стороне листа оставались бугорки.

В сентябре две тысячи второго года в журнале появилась вкладка. Отдельный лист, вложенный между страницами, с заголовком «Временное хранение» и списком на тридцать четыре позиции: икона, оклад, серебро, две шкатулки, архив переписки, восемь папок с грамотами.

Напротив двадцати девяти позиций стояло «снято». Ни даты, ни подписи, ни причины.

Матвей перевернул лист. На обороте, карандашом, мелко и быстро, было написано: «Лето 04 — библиотека, опись, студент. Не забыть».

Он перечитал это трижды.

Потом встал, нашёл шкаф с надписью «Библиотека. Опись» и открыл его.

Папка лежала третьей сверху. Толстая, картонная, с тесёмками, обвязанными дважды. На обложке — старым, выцветшим, но всё ещё синим карандашом: «Опись библиотеки Дома Корн. Работа выполнена в июле — августе 2004 г.».

Матвей расстегнул тесёмки.

Сверху лежал титульный лист, написанный не им. Дальше шли листы учёта: номер, автор, заглавие, год, состояние, примечание. Сто двадцать страниц, исписанных ровным, мелким, слегка скошенным вправо почерком.

Он узнал этот почерк раньше, чем понял, что узнаёт. Так бывает с собственными вещами, найденными через много лет: рука узнаёт форму своих букв раньше, чем голова успевает сказать, что это твои буквы.

На последнем листе, внизу, под строкой «Работу сдал», стояла подпись.

«Дербенёв М. Л.»

И дата: двенадцатое августа две тысячи четвёртого года.

Матвей сидел не двигаясь, и в комнате было очень тихо, и лампа гудела ровно, и он слышал собственное дыхание, что случается с человеком редко и всегда некстати.

Он не то чтобы испугался. Он не то чтобы обрадовался. С ним произошло то, что происходит с людьми, которые двадцать лет всерьёз считали себя одним человеком и вдруг увидели документ, подписанный другим.

Он перелистнул назад и стал читать опись по-настоящему — не как бумагу, а как показания. И на семидесятой странице нашёл вторую свою подпись.

Она стояла не под текстом, а на отдельном листе, вшитом в папку: акт о передаче, короткий, напечатанный на машинке. «Настоящим подтверждается, что библиотека Дома Корн в количестве ста двадцати двух позиций принята на ответственное хранение. Ключ от библиотечного помещения сдан под расписку».

Подпись. Дата: четырнадцатое августа две тысячи четвёртого года.

Две подписи, двенадцатое и четырнадцатое. Между ними — два дня, в которые, по его собственной памяти, его здесь не было, потому что двенадцатого он уехал.

Он поднёс лист к лампе. Чернила были его. Наклон был его. Нажим был чуть больше обычного — так пишут, когда торопятся или когда рука устала. И в самом конце, после фамилии, была маленькая завитушка, которую он ставил всегда и о которой ему когда-то говорила учительница чистописания: «Дербенёв, у вас как у писца, только хвостик лишний».

Хвостик был на месте.

Он откинулся на спинку стула.

Значит, четырнадцатого августа две тысячи четвёртого года он был в этом доме, в этой комнате, с этой папкой в руках. Он сдал ключ от библиотечного помещения под расписку — а библиотечное помещение было той самой угловой комнатой, в которой он сейчас сидел, — и стоял вот здесь, при свете, как стоит сейчас.

Он закрыл папку, завязал тесёмки, положил её обратно третьей сверху и выключил лампу.

Дом был тёмн и полон своих звуков. Матвей стоял в темноте, слушая, и думал о том, что весь его приезд сюда — на защиту зрителя, в чужую усадьбу, к чужой мёртвой женщине — был не случайностью и не профессиональной обязанностью, а чем-то вроде возвращения, которого он сам себе не заказывал.

Он включил лампу снова — потому что одна вещь не давала ему покоя.

И нашёл её через двадцать минут: в реестре шкафа номер четыре, того самого, что стоял, придвинутый вплотную к двери на чёрную лестницу, последняя запись была сделана четырнадцатого августа две тысячи четвёртого года. Не Лидией Густавовной.

Его рукой.

Глава 10

Он не спал в ту ночь вообще.

В половине шестого он услышал, как на кухне загремела посуда, и вышел к Софье, которая ставила чайник и сделала вид, что не заметила, в чём он и как выглядит.

— Дверь заперли?

— Запер.

— Ключ на доску.

Он повесил ключ на доску у входа, где висели ещё три, и вышел во двор. Утро было серое, в парке стоял туман до половины стволов, и усадьба из этого тумана поднималась только крышей и трубой.

В райцентр он приехал к восьми и ждал Веру Корн на крыльце следственного отдела до тех пор, пока она не вышла из машины с двумя папками под мышкой.

— Вы рано, — сказала она.

— Я всю ночь не спал.

— Это видно. — Она поднялась на крыльцо и, уже взявшись за дверь, обернулась. — Идите. Кофе у нас плохой, но горячий.

Кабинет был маленький, в два стола, второй — пустой, с выключенным компьютером и снятой трубкой телефона. Вера села за свой, поставила перед ним папку и пододвинула вторую чашку, которую принесла с собой.

— Вот, — сказала она. — Протокол осмотра. Медицинское заключение в черновике, подписанного ещё нет. Допрос Гущина я вам не дам, пока прокурор не согласует, я вам говорила.

Матвей открыл папку и тридцать минут читал, не поднимая головы.

Читать в таких папках почти нечего, но он знал, что читать надо всё: протокол осмотра держит не факты, а порядок. Кто вошёл первым, кто что передвинул, где стоял человек, когда увидел. Он читал и делал пометки, и к концу у него в блокноте было четыре строчки, из которых одна казалась ему важной и он сам не понимал, почему.

Вера сидела напротив и не мешала. Она смотрела в свой экран и время от времени что-то набирала, и это было похоже на игру: она не работала, она ждала.

— Всё? — спросила она, когда он закрыл папку.

— Всё.

— Тогда я задам вам вопрос. — Она развернулась вместе со стулом и сложила руки на столе. — Вы почему здесь?

— Меня назначили.

— Вас назначили защищать человека в райцентре. Из Санкт-Петербурга. Сто двадцать километров, гонорар по назначению — двенадцать тысяч за всё дело, и это если признают по полной. Такие, как вы, от таких дел отказываются в течение часа по телефону.

— Я не отказываюсь.

— Знаю. — Она смотрела на него прямо. — Я поинтересовалась. Я подняла базу. Вы за двенадцать лет ни разу не отказались ни от одного назначения. Но вы всегда брались за дела в городе. За городскую черту вы выезжали три раза — все три в область, все три по ходатайству о выезде. И вот теперь вы четвёртый раз уезжаете, но уже без ходатайства, ночью, по звонку из канцелярии, и поселяетесь в гостинице «Ключанка» на неопределённый срок.

— К чему вы это?

— К тому, что я не верю в совпадения, — сказала Вера. — Я следовательно. У меня профессия такая.

Матвей молчал. Она была права во всём, и он не собирался это отрицать, и не собирался объяснять настоящее.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда и я задам вопрос.

— Попробуйте.

— Дело о смерти Даши Гущиной две тысячи четвёртого года. Оно в производстве?

Вера не изменилась в лице. Совсем. И именно поэтому он понял, что попал.

— Кто вам сказал про Гущину? — спросила она.

— Фотография в спальне и заметка в районной газете. Это открытые источники, я не делаю ничего незаконного.

— Две тысячи четвёртый. — Она откинулась на спинку. — Дело закрыто. Тело не нашли. Мать говорила мне о нём раз в год, восьмого марта, всегда с одним и тем же концом: это несчастный случай, не спрашивай меня больше.

— Оно в архиве?

— Всё в архиве. — Она помолчала. — Я поднимала. Вчера.

— Зачем?

— Потому что мою мать убили в запертой комнате, а в её столе лежала фотография двадцатилетней давности, и я не идиотка. — Она встала, подошла к шкафу и вытащила из него тонкую папку — совсем тонкую, такую, в каких лежат дела, у которых нет тела. — Я поднимала его вчера вечером. И я вам сейчас скажу то, что не должна говорить, потому что вы всё равно это узнаете, а узнав от другого, решите, что я вам врала.

Она бросила папку на стол перед ним, но не открыла.

— В деле есть показания свидетеля, — сказала Вера. — Один человек — один, и только один — видел в тот вечер, как Даша Гущина шла через парк в сторону реки. Эти показания и закрыли дело. Из-за них всё сошлось: девочка пошла купаться, девочка утонула, течение унесло тело.

Матвей смотрел на папку.

— Как фамилия свидетеля? — спросил он.

— Вы её знаете, — сказала Вера.

Она обошла стол и встала рядом с ним — близко, на расстоянии одного шага, того расстояния, на котором разговаривают люди, которые давно решили, что будут говорить прямо.

— Дербенёв, — сказала она. — Свидетель — Дербенёв М. Л., девятнадцати лет, студент, работавший в усадьбе по найму.

Он слышал, как в соседнем кабинете кто-то поднял и бросил трубку.

— Вы уехали двенадцатого, — сказала Вера. — Вы сами мне это сказали. Двенадцатого, вечером, на автобусе. В описи у вас тоже двенадцатое. Я проверила опись, она в архиве музея.

— Да, — сказал Матвей.

— Тогда почему свидетель Дербенёв дал показания четырнадцатого?

Он молчал.

Он мог сказать правду и знал, что это будет правдой, которая ему не поможет: «Я не помню». Он мог сказать, что не был здесь, и знал, что это будет ложь, потому что в папке, которую он держал ночью в руках, стояла его подпись под датой, которой у него в жизни не было.

Он выбрал третье.

— Я уехал двенадцатого, — сказал он.

Вера смотрела на него ровно, без всякого выражения, и молчала так долго, что стало слышно, как за окном дворник скребёт асфальт.

— Ага, — сказала она наконец.

И, вернувшись за свой стол, стала что-то печатать, будто разговор был закончен.

Он вышел на улицу и сел в машину. За двадцать лет работы Матвей Дербенёв не сказал в лицо следователю ни одной прямой лжи; он умел говорить так, что ложь не требовалась, и гордился этим больше, чем всеми своими оправдательными приговорами.

Сегодня он соврал, и соврал плохо, и его поймали в ту же секунду.

И хуже всего было не это. Хуже всего было то, что он до сих пор не знал, почему врёт.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 11

Кладбище было за рекой, на низком берегу, и в августе после дождей там всегда пахло водой и травой одновременно — так, как пахнет земля, из которой вот-вот выступит вода.

Матвей приехал к половине двенадцатого. Машин у ворот стояло семь: две чёрные, одна серая, три обычных, разномастных, и одна большая, с водителем, который не вышел и сидел, глядя в телефон.

Венков было три, как и распорядился Илья Борисович. Высокие, на проволочных каркасах, с лентами — но ленты он тоже велел сделать без надписей, только чёрные, и от этого венки выглядели казённо и странно, как букеты, у которых вырезали язык.

Людей пришло человек тридцать. Матвей стоял в стороне от ограды и смотрел, как они собираются, и в этом было не любопытство, а работа: он смотрел, кто подходит к кому, кто первый здоровается, кто кого не видит.

Илья Борисович Корн стоял у входа и принимал соболезнования, как принимают гостей на открытии. Он был в чёрном костюме, тщательно выглаженном, и держал руки так, чтобы были видны часы.

Вера стояла от него в четырёх метрах — и это было заметно, потому что четыре метра на кладбище при такой толпе держат только нарочно. Брат сказал ей что-то через головы двух женщин; она ответила коротко и отвернулась. За всё время, что Матвей наблюдал, они не подошли друг к другу ни разу.

Софья Андреевна плакала открыто и громко, вытирая лицо краем чёрного платка, и её утешали две женщины из райцентра, одна из которых, судя по всему, была из собеса, потому что держала папку.

Аркадий Терентьевич Лемешев стоял отдельно, с непокрытой головой, хотя моросило, и держал в руке не букет, а сложенный вчетверо лист, который он никому не показывал.

Анна Николаевна Ремизова стояла дальше всех, у самой ограды. На ней было тёмное, простое, без платка, и она не подошла ни к воротам, ни к могиле. Она стояла и смотрела на реку.

И был ещё один человек, которого Матвей не знал: лет сорока пяти, плотный, в дорогом тёмном костюме, с той уверенностью в осанке, которую даёт не сила, а деньги. Он подошёл к Илье, они обменялись двумя фразами, и человек отошёл к машине и уже не возвращался.

Матвей запомнил его лицо.

Гроб несли шестеро рабочих из усадьбы, и Матвей обратил внимание, что к первой ручке спереди подошли не как обычно. Он подошёл ближе и посмотрел.

Половина несл с левой стороны.

Он сказал об этом Дуднику вчера вечером по телефону, коротко: так надо, земля справа проваливается. Дудник выслушал, крякнул и ничего не спросил.

И вот теперь шесть человек шли от ворот к яме, и все шестеро держали гроб так, что его правый край был заметно ниже левого, — как держат, когда знают, что под правой ногой у них тонко. Матвей смотрел на это и думал, что человек, сказавший ему про левую сторону, сказал это из тюремной камеры, и знал он это не из книг, а потому, что тридцать лет носил воду и копал землю на этом берегу.

У ямы стало тихо. Священник, пожилой, торопился, потому что у него была ещё одна панихида в час.

Вера стояла в первой линии, одна. Илья — во второй, за женщинами.

Матвей остался у ограды и до конца не подошёл.

Когда всё закончилось и стали расходиться, Вера обернулась, нашла его глазами и подошла сама — первый раз за четыре дня.

— Вы велели нести с левой стороны, — сказала она.

— Я.

— Кто вам сказал?

— Он.

Вера посмотрела на могилу.

— Я двенадцать лет хожу сюда на Пасху, — сказала она. — И ни разу не видела, чтобы правая сторона проваливалась.

— Значит, вы ходили не по той земле, по которой ходил он.

Она не ответила и отошла к женщинам, которые ждали её у ворот.

Матвей пошёл через кладбище вдоль берега. Он уже решил, что на поминки не поедет, — ему там делать было нечего, — и почти дошёл до выхода, когда его догнал Лемешев и пошёл рядом, аккуратно подстраиваясь под шаг.

— Вы не были в доме?

— Ночью был. Смотрел архив.

— Ночью. — Нотариус произнёс это без осуждения, даже с чем-то похожим на одобрение. — И как вам наша Лидия Густавовна в документах?

— Педантичной.

— Педантичной, — согласился Лемешев. — Она была педантична ровно до того места, где это было ей выгодно. Дальше она становилась женщиной, которая не помнит, что подписывала.

— Вы её знали с девяносто четвёртого?

— С восемьдесят восьмого. Я оформлял ей наследство после матери, я оформлял ей продажу собрания, я оформлял три завещания. — Он помолчал. — Я оформил ей всё, кроме одного документа, который она мне не показала.

— Какого?

— Если бы я знал, — сказал Аркадий Терентьевич, — я бы сейчас не ходил по кладбищу с постным лицом, а сидел бы в районе и разговаривал с прокурором.

Он остановился у ворот и аккуратно сложил свой лист пополам, потом ещё раз пополам.

— Завтра я уеду. Но до отъезда приду в усадьбу и опечатаю кабинет. Там есть бумаги, которые не должны исчезнуть, независимо от того, кто будет хозяином.

— Вы так сказали брату?

— Я сказал об этом брату сегодня утром, — ответил Лемешев. — Он ответил мне, что кабинет уже опечатан. Он ошибся: не опечатан.

Нотариус надел шляпу и пошёл к машине.

На поминки он всё-таки поехал — потому что Софья Андреевна догнала его у самых ворот и сказала: «Приходите, вы человек посторонний, с вами хоть поговорить можно». Это был не аргумент, но он согласился.

Столовая в усадьбе была та самая анфилада, в которой утром четырнадцатого августа стоял накрытый простынёй стол. Теперь здесь стояли четыре сдвинутых стола, на них — тарелки, пироги, кутя в двух мисках, водка в графинах и компот в трёхлитровой банке.

Люди ели, и это было самое тяжёлое. Матвей сел с краю, у окна, и почти всё время молчал, и слушал.

Слушать на поминках — единственное место, где следователь и адвокат занимаются одним и тем же: люди едят, и от еды у них развязываются руки. За полтора часа он услышал: что Лидия Густавовна была женщина твёрдая; что она никого не пускала в дом последний год; что она «в июне как с цепи сорвалась» и велела вынести из угловой всё лишнее; что у Ильи Борисовича «опять всё не как у людей»; что в усадьбе теперь ремонт, которого сорок лет не было, и что это тоже «её, её характер».

А потом, за третьей рюмкой, женщина в синем платке, сидевшая напротив Матвея, сказала негромко, ни к кому:

— А эта-то, Гущина, так и не нашлась.

Стол на секунду стал тише — на полсекунды, ровно на столько, чтобы это заметил только тот, кто слушал.

— Какая Гущина? — спросил Матвей, как спрашивают в таком месте: не наклоняясь, глядя в тарелку.

— Дочка смотрителя, — сказала женщина. — Двадцать лет как утонула, а река не отдала. У нас в районе про это все знают.

— Она умерла? — сказал Матвей.

— А кто её видел? — сказала женщина. — Может, и не умерла.

— Зоя Петровна, — вдруг сказал Илья Борисович через стол, и сказал это очень спокойно. — Давайте за маму. Поминать — так маму.

Выпили. Разговор ушёл в другую сторону и больше к Гущиной не возвращался.

Через час Матвей вышел во двор — не курить, он не курил, а просто чтобы перестать слышать, как едят.

У машин стояли двое: Илья Борисович и тот плотный человек в дорогом костюме, которого Матвей запомнил на кладбище. Они говорили негромко, и ветер относил слова в сторону дома, но Матвей подошёл к своей машине за блокнотом — просто и естественно, как человек, который идёт к своей машине, — и оказался в шести метрах.

— Земля — это ерунда, — говорил человек в костюме. — Земля подождёт. Мне нужна бумага.

— Я смотрел, — отвечал Илья. — Бумаги нет.

— Она есть.

— Её нет в доме. Я знаю дом.

— Значит, она не в доме. — Человек смотрел на него без всякого выражения. — Она была у неё в руках, Борисыч. Ты сам говорил.

Илья увидел Матвея и замолчал.

— Что вы тут делаете? — спросил он громко, для человека в костюме.

— Иду к машине, — сказал Матвей.

Человек в костюме посмотрел на него оценивающе, как смотрят на предмет, который пока непонятно, зачем нужен, и сел в свою машину. Водитель тронул с места, не поднимая глаз от телефона.

— Кто это? — спросил Матвей.

— Никто, — сказал Илья. — Покупатель.

— Чего?

— Всего, — сказал Илья Борисович и пошёл в дом.

Матвей записал в блокнот: «Покупатель. Бумага. Илья знает, что в доме её нет».

И только потом заметил, что записал слово «покупатель» так же, как записывают фамилию.

Через час он вышел на крыльцо, и там была Вера — курила, хотя на кладбище не курила, и смотрела на парк.

— Хотите спросить про Зою? — спросила она.

— Не сегодня.

— Да, вы любите «не сегодня». — Она затушила сигарету о перила и спрятала окурочек в карман, как Пестова. — Что вам нужно?

— Ваша фотография. Та, в рамке.

— Что с ней?

— Переверните.

Она посмотрела на него, потом пошла в дом, вернулась через минуту с деревянной рамкой и, не снимая перчатки со стола — просто руками, — вынула картон. Держала его за края, лицом к себе.

— Ну, — сказала она. — Чистый.

—оборот.

Вера перевернула.

На обороте, в правом нижнем углу, простым карандашом, косо, было написано:

«12.08.2004. Дом. Все, кто был».

Почерк был мелкий, с сильным нажимом, буквы стояли почти без наклона, а в слове «Дом» точка над «о» была поставлена короткой чертой.

Матвей смотрел на эти четыре буквы и вспоминал тетрадь из архива: журнал поступлений, вторая рука, крупная, с наклоном влево, с нажимом, от которого на обратной стороне оставались бугорки.

Это был не почерк Лидии Густавовны Корн.

Глава 12

Софья Андреевна Кислицына согласилась разговаривать только при одном условии: он будет есть.

— У меня пирог с капустой, — сказала она, ставя перед ним тарелку. — Никто не ест, а я пекла. И не смотрите на меня так, я не на допросе.

— Вы и не на допросе.

— Ага. — Она села напротив и сложила руки. — Тогда спрашивайте.

Кухня после поминок была вымыта и стояла пустая и гулкая, и в ней было хорошо — впервые за все эти дни у Матвея было чувство, что он находится в комнате, где человеку ничего не нужно от него скрывать.

— Анна Николаевна, — сказал он. — Расскажите про неё.

— А что про неё рассказывать.

— Всё. Когда приехала, откуда, как её нашли.

Софья подумала. Она думала долго и всерьёз, как думают люди, которые боятся оговорить человека.

— В конце мая, — сказала она. — Лидия Густавовна мне сказала: приедет женщина, архивариус, с июня. Я спрашиваю: откуда? Она говорит: по рекомендации.

— Чьей?

— Не сказала. — Софья развела руками. — Это ведь как бывает. Объявление дали или через знакомых. Я в это не лезу, мне что, мне лишь бы человек был тихий.

— Она тихая?

— Очень. — Софья кивнула. — Работящая. Не пьёт, не курит, за телефоном не сидит, ходит во флигель — там, в углу, где стена сырая, — чинит обои. Я раз принесла ей бельё, смотрю: она обои шпателем отклеивает и клеит обратно, потому что там пузыри. Кто так делает? Никто так не делает.

— И всё?

— И всё. — Софья помолчала. — Одно только. Она на кухню не заходит.

— То есть?

— Вот как сейчас мы сидим — она не заходит. Я ей говорю: Анечка, иди чаю. Она говорит: спасибо, я у себя. — Софья произнесла «Анечка» и осеклась.

Матвей не пошевелился.

— Аня?

— Аня, Аня, — сказала Софья быстро. — Ну, я её так называю, Анна — Аня, что тут такого.

— Ничего, — сказал Матвей. — Просто Лидия Густавовна называла её как?

— Лидия Густавовна — Анной Николаевной. Всегда. — Софья смотрела на него с вызовом, но вызов был не в глазах, а в голосе. — А я привыкла по-своему. Мне сколько лет, я уже никого по имени-отчеству не зову, у меня все Ани, Тани и Кати.

— А Пётр Ильич звал её как?

— Пётр Ильич? — Софья задумалась всерьёз. — А Пётр Ильич с ней и не разговаривал. Ни разу. Я думала сначала, он её не любит, а потом поняла: он её боится.

— Боится?

— Ну. — Она пожала плечами, точно извиняясь. — Ходит мимо флигеля, а сам или в землю смотрит, или вбок. Точно там не женщина живёт, а собака во дворе.

Матвей записал. И, записывая, подумал о том, что он слышит: не сплетню, не характер, а то, как один человек двадцать лет обходит другого по двору.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.